

**Михаил Николаевич Волконский**

**Князь Никита Федорович**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-311.3

ББК 84-4

**Михаил Николаевич Волконский**

Князь Никита Федорович / Михаил Николаевич Волконский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 146 с.

**ISBN 978-5-4241-3161-5**

В основе произведений одного из самых известных беллетристов начала XX века князя Михаила Николаевича Волконского - "неофициальная история" XVIII столетия, сплетающаяся из множества скандальных историй, дворцовых тайн, приключений и мистики. Интриги, власть, коварство, любовь и деньги - неизменные составляющие его авантюрно-приключенческих романов.

**ISBN 978-5-4241-3161-5**

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*"Ты защищал, Господи, дело души  
моей, искуплял жизнь мою".*

*"Плач Иеремии", гл. III, ст. 58.*

## I

### МИТАВА

По воле государя князь Никита Федорович Волконский был записан в Преображенский полк и отправлен в числе других молодых людей за границу для обучения разным наукам и искусствам. Он безостановочно ехал морем от Петербурга до Риги, откуда должен был продолжать путешествие на лошадях, направляясь в Курляндию, на Митаву.

Два года тому назад Рига, сдавшаяся русскому оружию, вошла уже в состав Российской империи, и, согласно данному царем приказанию ни минуты не останавливаться в пределах России, Никита Федорович не мог мешкать в этом городе. Только в Митаве мог он отдохнуть.

Он остановился здесь у товарища своего детства Черемзина, занимавшего, по своему придворному положению, небольшую квартиру в самом замке Кетлеров, служившем резиденцией герцогини Курляндской.

Черемзин, разбитной молодой человек, побывавший за границей, в Париже, живо впитал в себя верхи европейской образованности и покрылся лаком внешнего приличия, созданного щепетильным этикетом блестящего двора Людовика XIV. Это было все, что он вынес из своего пребывания за границей; впрочем, он привез с собою оттуда также несколько ящиков книг, красиво переплетенных, но не прочитанных.

На другой же день своего приезда в Митаву Волконский побывал у русского резидента в Курляндии Бестужева, силою царя Петра управляющего всем герцогством, согласно воле своего государя.

Бестужев, к которому у князя Никиты было рекомендательное письмо из Петербурга, принял его ласково, пригласил к себе на обед, расспросил о петербургских знакомых, о государе, о дворе и тут же представил своей дочери Аграфене Петровне.

В гостиной Бестужева пахло какими-то очень сильными, должно быть, восточными курениями, стояла золотая мебель, обитая голубым штофом, и блесстел, как зеркало, вылощенный, натертый воском паркет. Князь Никита видал роскошь, видал богатые дома в Петербурге, недавно выросшем на болотах, и в Москве, но там было все далеко не то, что здесь. Не было этой блестящей чистоты, отделанности, законченности и вместе с тем кажущейся простоты.

Молодая хозяйка дома тоже казалась вовсе не похожею на тех, вечно робевших и боявшихся взглянуть, не только говорить, молодых девушек, полных и румяных, которых Никита Федорович видал до сих пор. Бестужева не только не робела перед ним, но, напротив, он чувствовал, что сам, с каждым словом все больше и больше робеет перед нею и не смеет поднять свои глаза, глупо уставившиеся на маленькую, плотно обтянутую чулком, точеную ножку девушки, смело выглянувшую из-под ловко сшитого шелкового платья.

Волконский не знал, как и вовремя ли он встал, поклонился и вышел осторожно, чтоб не поскользнуться, ступая по паркету. Выходя, он решил, что больше не поедет к Бестужеву.

— Ты понимаешь, — сказал он в тот же вечер Черемзину, — что мне здесь у вас не нравится? Видишь ли, воли нет, простора, все тут сжато. Вот и дома. Они, пожалуй, и больше наших московских, а все-таки как-то давят; не хоромы они... Так и все. Дворец вот...

— Замок, — поправил Черемзин.

— Ну, замок, что ли... Ты посмотри: окошечки узенькие, стены толстые, рвы, валы кругом. Да и люди тоже, скажу тебе, все в себя сжались, точно весь мир они только и есть, точно все существо жизни они притянули к себе, да и сдавили его. Разве так, без воли, проживешь?

— Это ты, должно быть, с дороги устал, мой милый, — возразил Черемзин. — А, впрочем, если желаешь простора, выйди погулять за город: там, брат, такой уж простор — прелесть...

— Что ж, и пойду, — согласился Волконский, — а то здесь просто душно... Ты не пойдешь? — спросил он уже со шляпой и тростью в руках.

Черемзин зевнул, закинул руку за голову и отрицательно покачал головой.

— Ну, так я один пойду.

— Смотри, не опоздай вернуться — после заката в замке поднимут мост, — крикнул Черемзин ему вслед.

Выйдя из замка, Волконский направился прямо в поле по первой попавшейся дороге.

Вечер был тих и прекрасен. С лугов веяло запахом скошенного сена, и дышалось легко. Солнце садилось, окрашивая небосклон нежными красками то огненного, то желтовато-бледного заката. Волконский, испытывая особенное наслаждение поразмяться после сиденья в неудобном экипаже, шел, объятый прелестью этого летнего вечера.

Через несколько времени он остановился, чтобы перевести дух. Сзади открылся ему вид на плоскую, окруженную зеленью Митава, с ее длинными шпицами лютеранских церквей и силуэтом темного замка. Черепичные кровли домов, окруженные темно-зелеными кущами деревьев, румянились косыми лучами заката, отражавшегося с этой стороны в изгибах реки, прозрачной и светлой.

Вдалеке, у конца расстилавшейся от ног Никиты Федоровича прямой, суживавшейся к городу дороги скакали несколько лошадей.

Впереди других Никита Федорович разглядел амазонку, которая подгоняла хлыстом свою и без того скакавшую широким галопом большую серую лошадь. Остальные, видимо, едва могли следовать за нею. На амазонке было темно-зеленое широкое платье с бархатною красною накидкой, красиво развевавшееся на ходу лошади. Она быстро приближалась по дороге, подымая отягощенную вечернею сыростью пыль. Еще несколько секунд, и Никита Федорович узнал в ней Бестужеву.

Оу узнал ее, хотя теперь она была совсем другою, чем там, у себя дома. Она сдержала уже свою лошадь и вполоборота разговаривала с нагнавшим ее русским драгунским офицером. Тот поднявшись на стремянах и почтительно склонившись вперед, слушал ее, как бы гордясь своею собеседницей.

Волконский никогда еще не видал такой девушки. Тут не красота, не строй-

ность, не густые брови и быстрые большие глаза притягивали к ней; нет, она вся дышала какою-то особенною, чарующею прелестью. Она легко и свободно сидела в седле, видимо, уверенная не только в каждом своем движении, но и в том, что каждое это движение хорошо и красиво, потому что в ней все было хорошо. Никита Федорович смотрел на нее, забыв то смущение, которое испытывал при первом знакомстве, — забыв потому, что теперь пред ним была не Бестужева, не дочь важного сановника могучего Петра, но чистое, не здешнее, неземное существо, на которое мог радоваться всякий живущий. А она, не заметив даже Волконского, ударила лошадь и промчалась быстрее прежнего.

Он пошел обратно в город большими шагами. Он, конечно, не мог знать, какое у него было в это время блаженное, радостное лицо, с блестящими глазами и счастливого улыбку, но, радуясь, чувствовал во всей груди какой-то необъяснимый трепет и неудержимую удаль. Теперь все казалось уже прекрасным. Даже холодные, мрачные своды замка получили некоторую привлекательность, и Никита Федорович удивлялся лишь, как прежде он не замечал, что все в Митаве так хорошо и приятно.

Его отъезд был отложен на неопределенное время. Впрочем, это случилось как-то само собою. Он просто не приказывал своему старику слуге Лаврентию укладывать вещи, а тот не напоминал. Черемзину тоже не приходило в голову сделать своему гостю такое напоминание, и Волконский оставался в Митаве, забыв, что должен отправиться дальше по приказу грозного и не любившего послушания государя.

Волконский приехал в Митаву в смешном, грубом наряде, неповоротливый, застенчивый и, может быть, даже неуклюжий; но все это быстро, как лишняя кора, упало с него, благодаря влиянию обстановки, в котором очутился князь Никита и которая, видимо, вовсе не была чужда его природе, врожденным чутьем отгадавшей, что именно было нужно.

Привезенный из Петербурга парадный кафтан из серебряного глазета, расши-тый руками крепостных золотошвеек по карте золотом канительно, битую и блестящими, оказался не только скроенным не по моде, но и сидел настолько неуклюже, что его пришлось заменить новым, хотя и более простым, но зато более ловким и красивым. Затем явилась бездна мелочей, незаметно привившихся к внешней жизни Волконского. Черемзин, находя все это совершенно естественным, не замечал этой перемены в князе, так же, как и он сам.

Из русских книг, прочитанных прежде Волконским, он знал, что французы "зело храбры, но неверны и в обетах своих не крепки, а пьют много", "королевства англиканского немцы купеческие доктуроваты, а пьют много". Дальше этого сведения русских книг не распространялись. Черемзин рассказал князю Никите подробно и о французах, и о других народах, которых видел. О том, чего не видел Черемзин, князь Никита узнавал из его книг, из которых оказывалось, что свет вовсе не так необыкновенен, как описывалось в русских сочинениях, говоривших "о людях, кои живут в индейской земле, сами мохнаты, без обеих губ, а питаются от древа и корения пахучего, не едят, не пьют, только нюхают и, покамест у них те запахи есть, по то место и живут".

— Знаешь что, — сказал однажды Волконский Черемзину, отрываясь от немецкой книги, — все-таки мне прежнего жаль.

— Чего прежнего? — удивился Черемзин.

— Да вот того, что описывается в наших книгах... Там есть такие рассказы, например, о царстве девицьем...

— Вот вздор! — усмехнулся Черемзин.

— Может быть, конечно, вздор. Я вот из одной этой "Космографии", — Волконский кивнул на книгу, — понимаю, что все это — вздор; это-то мне и жаль... Неужели все на свете так же вот просто, как мы с тобою?

— Во-первых, мы с тобою вовсе не так просты, — ответил Черемзин, хотя и не много читавший, но тем не менее способный поддерживать всякий разговор, — кто тебе это сказал? А во-вторых, есть на свете довольно чудесного и без девицкого царства.

Волконский задумался.

— Вот, — начал Черемзин, — послезавтра у Бестужева будет немец...

— Какой немец? — спросил Волконский, чувствуя, что при имени Бестужевых краска бросается ему в лицо.

— Кудесник-немец, до некоторой степени особенный, судя по рассказам. Я один раз во Франции встретил подобного человека. Они попадают. Если тебя интересует — пойдем вместе. Немец здесь проездом. Да, отчего ты не бываешь у Бестужевых? Там раз как-то даже спрашивали о тебе, — добавил Черемзин.

— Кто спрашивал? — не вытерпел Волконский, тут же досадуя на себя за это, потому что еще минута — и его волнение могло быть заметно Черемзину. Но тот совершенно равнодушно ответил:

— Право, не помню, кто именно, знаю, что говорили...

На этом разговор прекратился, но Волконский так и заволновался весь. Он жил все это время, полный своими мечтами, в каком-то восторженном состоянии. Однако, когда Черемзин такими простыми словами и таким равнодушным голосом сказал, что он, Волконский, может пойти к Бестужевым, Никита Федорович почувствовал вдруг безотчетную боязнь за свое чувство, как будто оттого, что он пойдет туда, может случиться или что-нибудь ужасное, или... Никита Федорович не знал, что следовало за этим «или». Он знал только, что сердце его бьется, и кровь приливает к вискам.

Несмотря на это, теперь, после разговора с Черемзиным, он страстно, со все увеличивающимся желанием, начал ждать назначенного у Бестужевых вечера.

## II

### КУДЕСНИК

Гости съезжались, когда Волконский с Черемзиным подъехали к дому Бестужева. Никита Федорович по крайней мере уже раз сто представлял себе, как он войдет, как увидит дочь Бестужева и как вообще все это будет. Аграфена Петровна встретила его совершенно просто, равнодушно ответив на его глубокий, почтительный поклон кивком головы, таким же, каким ответила Черемзину и всем другим. Но от этого, разумеется, она не сделалась хуже; напротив, она была еще лучше, чем воображал Никита Федорович. И этот ее небрежный поклон был все-таки поклоном, обращенным к нему, и потому получал особенную прелесть.

Поздоровавшись с хозяевами, Волконский стал оглядывать гостиную. Лучше всех была, разумеется, молодая хозяйка. Все молодые люди, пышно разодетые, были вокруг нее, оставляя в стороне прочих дам, скучно и вяло сидевших в золоченых креслах.

Даже старики обертаты, толстые и солидные, которые держали себя очень важно и к которым то и дело подходил с любезною улыбкой сам Бестужев, казалось, радовались, глядя на его дочь, освещавшую все собою. Одна только молодая дама в темном, не совсем ловко сшитом платье сидела отдельно на диване, сдвинув брови над довольно широко поставленными глазами и сложив губы в принужденную улыбку, лениво обмахивалась веером, как бы не желая ни на что обращать внимания. Эти широко поставленные глаза, улыбка, а главное — ровный большой прямой нос и два спускавшиеся прямо на лоб дамы завистка неприятно поразили Волконского, когда он взглянул на нее. Он заметил, что все, почтительно поклонившись, как-то обходили ее, и только хозяин старался изредка занять ее разговором, но она улыбалась ему широкою улыбкою и отвечала, видимо, односложными словами, слегка позевывая за веером.

Среди бархатных и шелковых расшитых кафтанов особенно отличался своим черным с ног до головы одеянием приезжий немец, для которого съехались сегодня к Бестужеву и который сидел теперь у окна с самым солидным и толстым обертатом. Сначала все разговаривали, будто не обращая внимания на немца, но затем мало-помалу гостиная как-то сама собою приняла то расположение, которое было необходимо. Черный немец очутился в середине большой дуги, образованной рядом кресел, на которых поместились старики; молодежь, окружавшая хозяйку, сгруппировалась по-прежнему, возле нее, и все незаметно придвинулись; только дама в темном платье осталась по-прежнему в отдалении на своем диване. Разговор становился все более и более отрывочным, смех делался сдержанным, все точно ждали и прислушивались, думая, что вот-вот сейчас начнется самое интересное. Но немец, спокойно продолжая разговаривать с обертатом, ничего "не начинал" и ничего необыкновенного не показывал, "может быть, все это — вздор", — мелькнуло у некоторых из гостей.

Аграфея Петровна поняла, что нужно вызвать немца на разговор, которого все ждали.

— Господин доктор, — обратилась она к нему по-немецки с откровенною решительностью, свойственною только хорошеньким женщинам, уверенным в том, что им будет позволено и всякое желание их исполнено.

Черный доктор склонился, почтительно слушая.

Бестужева прямо поставила вопрос ребром:

— Мне говорили, что вы — особенный человек и обладаете такими удивительными знаниями, что вам доступны вещи сверхъестественные...

Немец, прищутив глаза, ответил:

— Могу вас уверить, что на земле нет ничего сверхъестественного... Все очень просто и обыкновенно, если знать, и только для незнания таинственно.

— Ну, это нам все равно, — задорно сказала Бестужева, — мы ждем от вас чего-нибудь такого... удивительного...

И она улыбнулась немцу, смягчая эту улыбку резкостью своей намереннее откровенности.

— Извольте, — согласился доктор, улыбаясь в свою очередь. — Ровно сто лет тому назад...

Все притихли, довольные, что «началось»; одна лишь Бестужева не могла успокоиться.

— Что же это будет, доктор? История? — спросила она.



— Ровно сто лет тому назад, — продолжал он, не слушая, — в этот самый час был окружен врагами один монастырь, где заперся с небольшим отрядом ратников военачальник, твердо решивший не сдаваться. Напрасно враги шли на приступ, напрасно лезли на высокие стены и ломились в ворота — все усилия их были напрасны. Наконец, нашлась двое изменников, которые тайно впустили врагов внутрь монастыря; они вошли ночью и бросились на его защитников. Военачальник с горстью ратников кинулся в церковь и там был убит, защищаясь до последней возможности, кровь его, пролитая на церковный пол, так и осталась на камне: когда ее смывали, она выступала вновь...

— Это был, вероятно, немецкий монастырь? — самоуверенно спросил оберрат. — Я помню нечто даже подобное в истории моего рода...

Все находившиеся в гостях у Бестужева немцы, которых было тут гораздо больше, чем русских, невольно постарались припомнить, не случилось ли такой истории и в их роде, которым каждый из них гордился, зная чуть ли не наизусть всю свою родословную.

— Нет, — продолжал доктор, — монастырь был русский... Вам знаком этот случай, князь? — вдруг обратился он к Волконскому.

Никита Федорович почувствовал, что все взгляды обращаются на него, что все — и с ними она тоже — смотрят на него. Рассказ про своего родного прадеда, погибшего при осаде Боровского монастыря, он часто слышал в своей семье еще в детстве, но не мог понять, откуда этот приезжий, случайно встретившийся с ним немец знает и этот рассказ и, наконец, самого его. Бестужева действительно вместе с другими глядела теперь иа князя Никиту. Худой, высокий и стройный, он стоял, опустив голову. До этой минуты он был для нее одним из молодых людей, составлявших толпу, на которую она всегда смотрела равнодушно, не обращая ни на кого особенного внимания, привыкнув к общему подчинению себе. Она знала, что несколько времени тому назад приехал в Митаву какой-то князь Волконский, что он был раз как-то у них, но какой он именно, не помнила. Теперь она смотрела на его довольно редкие, но приятные черты, на его высокий, бледный лоб и глубокие глаза, и странно — что-то особенное показалось ей в том человеке, точно он не похож на остальных, точно его лицо светится как-то особенно для нее и в его глазах она может читать всю его душу.

— Все это очень хорошо, — обратилась она к доктору, — но я не понимаю, зачем вы рассказали эту историю про... князя... — добавила она, не найдя другого выражения и показывая веером в сторону Волконского.

— Почему я рассказал именно эту историю? — ответил доктор. — Не знаю, но расскажи я всякую другую — вы смогли бы сделать мне тот же вопрос. Но почему я вообще рассказал вам что-либо, так это вследствие вашей просьбы...

— Да что же тут удивительного? — воскликнула Бестужева с некоторой обидой, выражавшейся у нее обыкновенно в легком дрожании подбородка.

— Как? Разве не удивительно в самом деле то, что я вот, сидя здесь, в покойном кресле, знаю, что случилось сто лет тому назад, когда ни меня, ни вас не было и никто не думал о нас?

— Да, но вы могли прочесть этот рассказ где-нибудь или услышать, то есть сделать то, что доступно каждому из нас, — возразил один из оберратов, считавшийся самым умным в совете.

— Совершенно верно, — согласился доктор, — и вас это не удивляет лишь

потому, что вы сами можете сделать это...

— Ну, конечно, — нетерпеливо перебила Бестужева, — я понимаю, если бы вы рассказали нам будущее...

— Тогда бы это вас удивило?

— Разумеется, это было бы интересней.

— А мне кажется, что это решительно все равно; почему, собственно, труднее знать будущее, чем прошедшее?

— Ах, Господи, как почему? да прошедшее, в особенности такое, как вы рассказали, каждый ребенок, умеющий читать, может знать.

— А, вот вы сказали: "умеющий читать"! Видите, нужно и для знания прошедшего поучиться чему-нибудь, — значит, это вовсе не так просто, как вы думаете, — возразил доктор. — Этак ведь можно точно так же научиться читать и о том, что будет, и тогда для человека знающего, согласитесь, пропадет всякая низница в отношении знания для прошлого и будущего...

— Ну, а вы будущее можете нам сказать? — настаивала Бестужева.

Доктор, улыбаясь, поднял плечи.

— Что вам угодно знать? — проговорил он.

— Позвольте! Ну, вот здесь нас, — Бестужева оглянулась, — человек тридцать, я думаю... Чья судьба вас интересует больше других?

Аграфене Петровне главным образом, как и каждому из присутствовавших, хотелось узнать свою собственную судьбу; но она нарочно, не желая говорить о себе, поставила вопрос так, будучи уверена, что, разумеется, самую интересную будет найдена именно ее судьба. Дочь первого лица не только в городе, но и во всей Курляндии, она уже давно привыкла к лести, которою тешили ее самолюбие все окружающие, отчасти вследствие высокого положения ее отца, а отчасти и вследствие собственного ее ума, молодости и красоты.

— Наиболее интересная судьба ожидает князя, — заговорил доктор и опять обернулся в сторону Волконского, и все снова стали смотреть на него. — Вам в жизни предстоит много борьбы духовной — и победа останется за вами. Не отчаивайтесь! Будьте бодры! В положении самом жалостливом вы будете все-таки всегда выше людей, вас окружающих. Может быть, мы встретимся еще когда-нибудь, — заключил доктор серьезным, мерным голосом, каждый звук которого отдавался в сердце Никиты Федоровича.

"Так вот он какой — этот Волконский! — думала Аграфена Петровна, взглядывая на князя Никиту. — Вот что!.."

И она не могла не ощутить в себе все-таки горделивого сознания, что вот человека, которого она видит теперь у себя совсем молодым, и который, вероятно, вместе с другими робеет пред нею, ждет впереди совершенно особенная, таинственная будущность, отличная от будущего других.

Доктор, собственно, ничем не мог сию минуту подтвердить сделанное предсказание. Известно было только, что он никогда не видал Волконского, и никто не мог говорить ему о нем, потому что, кроме Черемзина, почти никто не знал в Митаве князя, вовсе не принадлежавшего к жизни города. Это было странно. Но не это заставило всех поверить словам немца. Особенное доверие возбуждал его мерный, серьезный голос, который, казалось, никогда не говорил неправды.

— Ну, и из женского находящегося здесь общества, — снова спросила Бесту-

жева, желая все-таки добиться своего, — кому вы предскажете будущность?

Доктор поднялся со своего места, налил из стоявшего на столе у стены графина воды в стакан и достал из кармана складную серебряную ложку.

Все в комнате с напряженным вниманием следили за малейшим его движением. Он вынул из канделябра восковую свечу и, отломив от нее кусок и распустив его в своей ложке, быстро вылил растопленный воск в стакан.

Бестужева не сомневалась, что гадание делается для нее и, внимательно вытянув шею, старалась рассмотреть, какую фигуру принимает застывший в прозрачной воде воск. Доктор поднял стакан на свет и разглядывал его.

"Неужели?" — мелькнуло у Бестужевой.

В стакане ясно очерчивалась фигура короны.

Немец вынул воск, расплескав воду, и действительно тот имел форму подушки с кистями по углам, на которой лежала ажурная тонкая императорская корона со скипетром и державою.

Бестужева, краснея от удовольствия, опустила глаза, чувствуя, что взгляды всех присутствующих обращаются к ней, и все лица улыбаются ей, склоняясь, и что черный доктор сейчас подойдет к ней. Но он, как бы сам пораженный, быстро выпрямился, твердыми большими шагами прошел чрез комнату и, опустившись на одно колено, подал фигуру короны сидевший в отдалении даме в темном платье.

Это была герцогиня Курляндская, Анна Иоанновна — будущая императрица Всероссийская.

### III ГЕРЦОГИНЯ КУРЛЯНДСКАЯ

Анна Иоанновна скучала в своей Курляндии, как только может скучать полная сил двадцатилетняя женщина, овдовевшая через два с половиною месяца после свадьбы, с детства привыкшая к огромному дому, полному всякой прислуги, приживалок и гостей и заключенная, как в темницу, в пустынный, средневековый замок с толстыми сводчатыми стенами, под которыми невольно стихала всякая попадавшая туда жизнь. Положение герцогини не только не спасло ее, но, напротив, служило главною причиной ее одиночества и заключения. Дочь покойного Иоанна Алексеевича, родного брата и соправителя по престолу царя Петра, она не помнила своего отца, умершего, когда ей было всего три года. Она выросла в родном селе Измайлове на попечении матери, царицы Прасковьи, вместе с двумя своими сестрами, из которых она была среднею.

В пятнадцать лет царевна Анна Иоанновна, благодаря своим не по возрасту формам и окрепшим мускулам, не казалась уже подростком.

В это время император Петр потребовал всех членов своей семьи в Петербург, и царица Прасковья, всегда послушная желаниям своего деверя, поспешила переехать туда с дочерьми. Царь Петр, помня кроткий нрав и подчинение своего покойного брата и видя послушание царицы Прасковьи, ласкал ее дочерей и заботился о них. Анна Иоанновна стала веселиться в Петербурге, где потянулась длинная вереница выездов, катаний, обедов, фейерверков, на которых она присутствовала вместе со всей царскою семьей, окруженная почетом и вниманием. Так прошло два беззаботных года, когда, наконец, раздалось над нею страшное слово "замуж".

Сам царь Петр выбрал племяннице жениха. Еще в октябре 1709 года он сворился при свидании в Мариенвердере со своим политическим союзником, королем прусским, обвенчать русскую царевну с племянником короля, Фридрихом Вильгельмом, герцогом Курляндским. Этот брак нужен был Петру, чтобы, с одной стороны, вступить в свойство с прусским королевским домом, а с другой — приобрести влияние на Курляндские дела, и он назначил невестою немецкому принцу родную племянницу свою, Анну Иоанновну.

Жених не замедлил явиться в Петербург, после того, как вопрос о приданом был тщательно обсужден и решен его послами с русским правительством.

Свадьба справлялась целым рядом празднеств и затей. На одном из пиршеств, например, подали два огромных пирога, из которых выскочили две разряженные карлицы и протанцевали менуэт на свадебном столе. В то же время была сыграна потешная свадьба карликов, для чего их собрали со всей России до полутреста.

Пирь и празднества закончились небывалою попойкою, после которой молодого заперто уложили в возок и отправили вместе с женою домой в Курляндию. Но герцог мог доехать только до мызы Дудергоф и здесь, в сорока верстах от Петербурга, скоропостижно скончался.

Смерть мужа оставила Анну Иоанновну вдовою без воспоминаний о супружеском счастье и герцогинею без связанных с этим титулом значения и власти. По политическим расчетам Петра она все-таки должна была отправиться в Курляндию. Герцогский жезл получил там, после кончины Фридриха Вильгельма, последний потомок Кетлеров, герцогов Курляндских, семидесятилетний Фердинанд, нерешительный и трусливый, не любимый народом, не способный к управлению и постыдно бежавший с поля сражения во время Полтавской битвы, где должен был находиться в рядах шведских союзников. Он не хотел явиться в Митаву, жил, ничего не делая, в Данциге и предоставил свое герцогство управлению совета оберратов. На самом же деле Курляндию управлял резидент русского государя Петр Михайлович Бестужев, присланный в Митаву в качестве гофмаршала вдовствующей герцогини Курляндской.

Анна Иоанновна не могла не чувствовать, что она в Митаве — второстепенное лицо, и что все знаки внешнего почета и уважения, которые оказывались ей, служат лишь для того, чтобы исключить ее из митавского общества, веселившегося по-своему и недружелюбно относившегося к ней. Немцы-курляндцы, видимо, не любили бывшей русской царевны, иноземки, почти насильно посаженной им в герцогини; русские же составляли свой кружок, в котором на первом месте была молодая, веселая и хорошенькая дочь Бестужева, пользовавшегося обаянием действительной власти и силы. Таким образом, положение герцогини только уединяло Анну Иоанновну, связывало правилами этикета и лишало возможности жить так, как хотелось ей, то есть пользоваться наравне с другими жизнью в свое удовольствие. Она пробовала собирать у себя гостей. Они являлись аккуратно в назначенный час, но держали себя чопорно и натянуто, почти не скрывая своей скуки, уничтожить которую Анна Иоанновна положительно не умела. Кроме самого давящего тоскливого воспоминания — ничего не оставалось ни у гостей, ни у хозяйки от этих сборищ. К себе на празднества Анны Иоанновны никто не приглашал, под тем предлогом, что она — «герцогиня» и ждать от нее чести посещения не смеют; правда, все отлично знали, что она с восторгом явилась бы